

Мой счёт им

Жизнеописание одного из «осчастливленных»
большевистским «раем»

[Аўтабіяграфія 1941 году]

По количеству прожитых лет я мог бы отнести себя к числу людей молодых, во всяком случае, не старых. Но само пережитое мною за эти годы до того состарило меня внутренне, что не раз уж мне казалось, будто я один лично пережил всю человеческую историю... И теперь только я начинаю чувствовать большое удовлетворение от того, что имею, наконец, возможность предъявить свой счёт тем, кому я обязан всей опустошающей горечью своих переживаний.

Но начну по порядку.

Я родился 26 июня 1909 года, т.е. ещё «при старом царском режиме», при «Николае Кровавом», как называли это время в своей пропаганде большевики. Однако, справедливость заставляет признать, что из всей моей жизни только это одно время не оставило по себе никаких «кровавых» воспоминаний. Может быть, потому, что я не мог ещё сознательно относиться к жизни?

Родители мои не были людьми сколько-нибудь богатыми. Отец смог получить школьным путём только низшее образование. Но зато всю свою жизнь он занимался непрерывным самообразованием и старался всеми силами дать образование мне. Отсюда — соответствующая атмосфера в семье, способствовавшая, вероятно, сравнительно раннему и быстрому моему развитию.

Здесь же я должен особо отметить и подчеркнуть национально-белорусский характер этой атмосферы. Один из родственников, живущий в нашей семье и вместе с отцом увлекавшийся самообразованием, выписывал белорусскую газету «Наша Ніва». Чтение им этой газеты вслух, особенно в долгие зимние вечера, воспитывало меня уже в раннем детстве в национально-белорусском духе, в духе любви ко всему белорусскому, как родному, понятному, близкому, пусть себе пренебрежительно не признаваемому другими. Так уж с детства зарождалась и вырабатывалась во мне национальная белорусская сознательность. С этой же линией связаны у меня и первые недружелюбные чувства к большевикам. Наш родственник, о котором я только что упоминал, в 1917 году был избран делегатом на Первый Всебелорусский Конгресс,

собранный в Минске для обсуждения и решения будущих судеб Белоруссии. Конгресс был грубо разогнан вооружённой силой большевиков. Со всей яркостью впечатлений детства помню я возмущённый рассказ об этом нашего родственника, поздно ночью пришедшего к нам после разгона Конгресса. Также хорошо помню, как лёжа уже в постели, прикидываясь уже спящим и по-детски подслушивая «серьёзные разговоры» взрослых, я твёрдо решил, что отныне всегда буду белорусом и никогда – большевиком. Но это решение, в сущности, не было уже детским, ибо с того времени и до сих пор я никогда не изменял ему и, конечно, никогда не изменю в будущем.

Учиться в школе я начал в следующем, 1918 году, при немцах, прогнавших несимпатичных мне большевиков. И здесь впервые уже в мои собственные руки попадает белорусская книга, ставшая с тех самых пор самым вожеленным для меня предметом. Но немцы неожиданно уходят, приходят опять-таки большевики, за ними приходят и уходят не менее несимпатичные, напыщенно-заносчивые и пренебрежительно третирующие всё белорусское поляки, и снова – большевики... Но вдруг, бегая вместе со сверстниками по улицам Минска, обнаруживаю афишу Белорусской Хатки, помещавшейся где-то на Конной площади. Конная площадь – это от меня очень далеко, через весь город, но я сейчас же отправляюсь на поиски своего белорусского очага, допущенного большевиками где-то на задворках... И к великой моей радости, вместе с Белорусской Хаткой нахожу Союз белорусской молодёжи при ней. Правда, руководители Союза сразу смотрят обидно-насмешливо на мои 11 лет, скрыть которые мне, при всём моём желании, никак не удаётся... Но после длительного разговора со мною, посоветовавшись, решают принять меня в действительные члены Союза. Радость моя не имеет границ. Всё лето до поздней осени 1920 года каждый вечер бегаю в Хатку через весь город, возвращаясь поздно в темноте неосвещённого города, несмотря на большое недовольство родителей. Декламирую со сцены Хатки белорусские стихотворения, за сценой произвожу гром, дождь, ветер – смотря по надобности, открываю и закрываю занавес... Вместе со своими «однопартийцами» по Союзу воюю с появляющимися в Хатке комсомольцами, стремящимися своей противной российской гармонкой и «частушками» сорвать культурную работу Союза белорусской молодёжи. Но у комсомольцев есть хороший друг – памятные и мне большевистские разгонщики. Они не дремлют, их всевидящее око проникает и на задворки Белорусской Хатки. И вскоре, поздней осенью того же 1920 года, Союз белорусской молодёжи объявляется распущенным, как «вредный параллелизм

единой организации трудовой молодёжи – комсомолу». Опять повторяются для меня переживания 1917 года, но уже с большей силой, ибо теперь я сам – непосредственный участник событий. И снова возобновляется в детском, уже окрепшем сознании, прежняя клятва. «Белорус» и «большевик» – понятия не только не совместные, но и прямо враждебные, я – всегда с первым, никогда – со вторым.

Продолжаю поиски своего белорусского на задворках враждебного, уже не только несимпатичного, но и ненавистного большевистского. Ещё во время Белорусской Хатки приходилось иногда бывать и в Белорусском рабочем клубе, но это для меня ещё слишком «взрослое» место. Всё же теперь посещаю вольнослушателем курсы белорусоведения при клубе. Но и это вскоре ликвидируется теми же большевиками.

Летом 1921 года встречаю объявление о чтениях по белорусской литературе приезжающего из Петрограда известного учёного-белорусоведа, профессора и академика Е.Ф.Карского. Курсы при Минском институте народного образования, вход свободный для всех желающих... Набираюсь нахальства и я, используя право свободного входа, посещаю лекции, обращая своей крайней юностью (и теперь мне, к сожалению, только 12 лет) внимание всей аудитории и маститого профессора. И, как верх нахальства, – отправляюсь вместе со взрослыми на коллоквиум... И вот профессор, вполне удовлетворённый обнаруженными мною познаниями, улыбаясь, пишет мне, как не имеющему лекционной книжки, особую справочку о выдержанном мною коллоквиуме, которую я сохранил свято до сих пор, несмотря на всю тщательность и всеобъемлющие изъятия обысков, неоднократно впоследствии проводившихся у меня «славными» чекистами...

Опять ищу белорусского везде... Учащённо посещаю белорусский театр и в зрительном зале, и за кулисами через двоюродного брата-артиста, сознательного белоруса, поддерживающего меня на моём пути и оказывающего известное воспитательное влияние в этом направлении белорусизма ещё с 1919 года, со времени его приезда к нам. Но в театре мою детскую ещё чистоту и идейность несколько шокирует закулисный богемный душок... Переходя в старшие классы школы, организую среди товарищей белорусский кружок, стараясь возродить в нём традиции Белорусской Хатки и Союза белорусской молодёжи.

В 1924 году оканчиваю школу-семилетку и поступаю в Минский белорусский педагогический техникум имени Усевалада Ігнатоўскага. В то время Минский педагогический техникум был местом, куда ещё не ступила, как следует, «нога большевика», хотя

«рука» его, точнее, «щупальцы», уже начинали проникать. Техникум готовил сельских педагогов – профессию, в то время крайне низко оплачиваемую. Вероятно, этим можно преимущественно объяснить тот характерный факт, что и в составе техникума, как преподавательском, так и студенческом, в то время совершенно не было евреев, между тем как все прочие учебные заведения, готовившие работников более «рентабельных» профессий (медицинских особенно, технических и т.п.), а также и городские школы (особенно центральные, с лучшим составом преподавателей, лучшей «марки») были буквально наводнены ими. Только значительно позже, когда я уже окончил техникум, туда начали поступать евреи, и то единицами, менее способные, менее удачливые в жизни.

Студенческий состав техникума был чисто белорусским и чисто деревенским. Среди преподавателей преобладали белорусские культурные деятели, в большинстве националисты, одновременно читавшие лекции в Белорусском Государственном Университете или ведущие научную работу в белорусских научных учреждениях, главным образом, в Институте Белорусской Культуры (Инбелкульт) – зародыше будущей Белорусской Академии Наук. Среди них надо особо отметить Язэпа Лёсіка – бывшего председателя Совета Белорусской Народной Республики, белорусского языковеда; народного поэта Якуба Коласа, в то время ярко националистически настроенного; профессора-литератора Пятуховіча; яркого националиста Івана Бялькевіча; также националистически настроенных преподавателей: Адама Міцкевіча (физик), Аляксандра Круталевіча (математик), Міхайлу Грамыку (географ) и, наконец, самого Усевалада Ігнатюскага – признанного заступника и ходатая за всех белорусов перед большевиками, имя которого носил техникум. Все эти люди впоследствии постепенно были в той или иной форме «ликвидированы», «изъяты», репрессированы ГПУ-НКВД. Отсюда видно, какую линию в воспитании молодого поколения проводил техникум. Это была в то время действительная кузница молодых белорусских кадров, кадров культурников-националистов. Неудивительно, что для ГПУ впоследствии достаточно было одного факта, что человек учился в Минском белорусском педагогическом техникуме для того, чтобы уже репрессировать его за белорусский национализм.

Большевистское в техникуме ещё было очень слабым. Комсомольская организация была малочисленной, никакого влияния на жизнь техникума не оказывала, хотя уже и вела некоторую подготовительную работу, играя роль тех «большевистских щупальцев», о которых я упомянул выше, прощупывая отдельных

студентов и даже преподавателей с точки зрения их политической благонадёжности, накапливая соответствующие материалы для последующей расправы ГПУ на этом участке белорусской жизни.

Ясно, что в техникуме я почувствовал себя совершенно, как «рыба в воде», и сразу ушёл в глубь работы и учебной, и культурно-общественной через разные кружки: краеведческий, литературный и др. А тут ещё вскоре техникум стал одним из центров зародившегося молодёжного белорусского литературного движения, проводимого организовавшейся в то время литературной организацией «Маладняк». Однако большевики быстро обратили внимание на новое движение, имевшее вначале ярко-выраженный национально-белорусский характер и широко разросшееся (до 500 действительных членов, завербованных в разных местах Белоруссии, около которых группировалась масса молодёжи – для литературной только организации и для небольшой в большевистских границах Белоруссии цифра весьма значительная!). На первых же порах организация была отдана под строгую опеку комсомолу, стремившемуся сразу же использовать её для своих целей и обратить в свою резервную культурно-пропагандистскую большевистскую организацию. По мере успехов комсомол в этом деле национально-настроенная молодёжь теряла симпатии к «Маладняку», да и внутри самого «Маладняка» пошло брожение. Результатом последнего был выход в 1926 году из «Маладняка» ряда самых талантливых молодых писателей-беспартийных во главе с быстро развившимся в большой талант, наложивший отпечаток не только на молодых, но и на старых писателей, даже народных поэтов Купалу и Коласа, – поэтом Уладзімерам Дубоўкам. Вышедшая группа вскоре основала свою литературную организацию «Узвышша», поставившую своей целью работу над возвышением белорусской литературы до европейской, не снижаясь до «производства» нужных большевикам агитационно-злободневных литературных произведений. Такая цель не могла не импонировать каждому национально-настроенному белорусу, желавшему служить своей родине в почти единственно дозволенной большевиками для работы области – области литературы. Она сразу же и привлекла меня к новой организации, и я под влиянием как всей близкой мне позиции организации, так и под большим личным влиянием и самого Дубоўкі и особенно критика Адама Бабарэкі (моего близкого соседа по квартире к тому же) начинаю работать в области литературной критики, выступая вначале устно в защиту новой организации, а вскоре и печатаясь, сначала в выходившем под влиянием «Узвышша» литературном приложении «Чырвоны Сейбіт» к самой распространённой в то время в Белоруссии газете «Беларуская Вёска», а впоследствии – с 1927 года – и в собственном журнале

организации под тем же названием «Узвышша». Вместе с этим я сразу же вступаю и в члены самой организации.

Большевики сразу же стали в недружелюбную позицию к новой, чисто беспартийной, некоммунистической как по своим целям, так и своему личному составу организации. Даже самого разрешения на её существование удалось добиться с большим трудом. Помощь же для издания журнала от государства (ибо частная издательская инициатива, как известно, в СССР не допускается) была настолько мизерной, что вначале нельзя было и думать о выплате гонорара своим членам организации. Всю работу и по редактированию и по распространению приходилось проводить совершенно бесплатно самим. Но все мы – люди молодые – не боялись этой работы, вели её, даже в мелочах, с энтузиазмом, присущим молодёжи, стараясь вложить все свои силы в то возвышение белорусской национальной литературы, которое мы поставили себе целью. Мы были полны того сознания, что работаем сами на себя, на свою родину, что поднимаем большое дело введения её – пусть пока только в литературе – в Европу, не являясь ни в коей мере теми большевистскими батраками и чернорабочими, пропагандистами особенно чуждого нам, как молодой, не развившей ещё своих потенций, нации – интернационализма, какими были наши литературные противники «маладнякоўцы».

После ряда мелких статей и рецензий в 1928 году я пишу и печатаю в журнале «Узвышша» большую монографию о творчестве Максима Гарэцкага – писателя по началу своей литературной деятельности ещё дореволюционного, первого создателя белорусской прозы, глубокого идеалиста и националиста в своей идеологии. Весь 1928 год занят я этой самой большой до сих пор работой в моей жизни; в печати она заняла около 10 печатных листов, печатаясь весь 1928 год в нашем журнале «Узвышша».

В 1928 году заканчиваю техникум и поступаю в Белорусский Государственный Университет в Минске на литературно-лингвистическое отделение, сразу же на 2-ой курс, на что мне дали право окончание техникума, считавшегося в то время «средне-высшим» учебным заведением.

Здесь я уже попадаю в совершенно другую, чуждую атмосферу. Если техникум был, как я отмечал выше, чисто белорусским, то в университете, хотя он и назывался громким именем «Белорусский Государственный», мы, белорусы, оказались в жалком, ничтожном меньшинстве. Подавляющим большинством были наехавшие в Белоруссию русские и евреи. Большинство это, тесно спаявшееся под «истинно-русским» флагом, сразу же встречает нас, что называется, в штыки. На нас сыплется град насмешек, начинается

форменная травля, в первую голову через печать – студенческую стенную газету, орган комсомольский и партийный. Появляется злонасмешливый фельетон о том, что в университете появились какие-то белорусские писатели и некоторые из них – какой криминал! – имеют нахальство носить европейские шляпы, подчёркивая этим свою ориентацию на «гнилой буржуазный Запад» и презрение к «великому российскому пролетариату». Европейскому читателю это может показаться невероятным, но я здесь ничуть не преувеличиваю – так совершенно серьёзно аргументирует против нас газета и в дальнейших своих статьях, а по её сигналу услужливая «комсомольская и беспартийная масса» начинает везде показывать на нас пальцами, всячески издеваться и высмеивать. Некоторые из нас не выдерживают и решают демонстративно уйти из университета. Писатели, бывшие «маладнякоўцы», понявшие под нашим влиянием всю унижительную с белорусской национальной точки зрения роль «Маладняка» и вышедшие из неё через некоторое время после выхода первой группы, образовавшей наше «Узвышша», – Зарэцкі, Дудар, Александровіч – принимают такое решение. Им удаётся даже поместить в центральной газете «Савецкая Беларусь» письмо об этом, где они прямо заявляют, что «белорусу нельзя учиться в Белорусском Государственном Университете». Письмо вызывает целую бурю. По тревожному партийному сигналу немедленно созывается общестуденческое собрание, которое, с одной стороны, должно доказать неправоту вышедших писателей, а с другой стороны, – «заклеймить их позором». На этом собрании выступаю и я от группы оставшихся в университете. Но вместо того, чтобы «опровергать» и «клеить», заявляю, что вышедшие писатели вполне правы в своей оценке положения в университете, но мы, оставшиеся, считаем их метод ухода, пассивного протеста неправильным и остаёмся в университете именно для того, чтобы бороться с нашими врагами – антибелорусами. Только это я и успеваю сказать в отведенные мне пять минут, всё время прерываемый враждебными выкриками, а под конец чувствуя даже, что вся эта «истинно-русская масса» ещё немного и готова совсем стащить меня с трибуны. Меня начинают «прорабатывать» на все лады и на этом собрании и в печати, не давая при этом возможности выступить с ответом. Начинает пахнуть тем, что на большевистском жаргоне называется «оргвыводами», т.е. исключением из университета. Но поднятый в печати шум подхватывается белорусской печатью Западной Белоруссии, принадлежавшей в то время Польше, где становятся в нашу защиту, получив хороший материал из рук большевиков для пропаганды против них же. Сообразив допущенную оплошность, здесь дело начинают

«заминать», и это спасает меня. Но с этого момента я становлюсь окончательно «политически неблагонадёжным», и всегда мне при всяком удобном и неудобном случае припоминают моё выступление (ГПУ впоследствии считает его «первым публичным проявлением» моей «контрреволюционной деятельности»). Ко всему, что я где-либо говорю или пишу, сразу же относятся с этого времени подозрительно. Меня же это настраивает ещё более оппозиционно, и я вовсе не стараюсь скрывать своих взглядов. Так, на одном из семинаров, где слишком часто склоняется Ленин, я заявляю, что Ленин никогда не был литературоведом и его высказывания о литературе не следовало принимать за нечто абсолютно бесспорное и безусловное. Опять – буря, в которой меня сразу же «определяют» в «антиленинца», и только симпатизирующий мне профессор выгораживает меня кое-как из неё.

Между тем в большевистской печати понемногу начинает разворачиваться антибелорусская кампания. Правда, большевики никогда не называют вещи своими именами, и сейчас внешне дело идёт не о борьбе против всего белорусского, а о преследовании «кулацкой идеологии» и «национал-демократизма» (термин, изобретённый в это время и, кажется, в Белоруссии, хотя впоследствии перекочевавший и в другие «национальные республики» и скрывавший под собою, собственно, всё национальное). В этой кампании «Узвышшу» отводится видное место, наших поэтов – упоминавшегося уже Дубоўку, а также стоявшего рядом с ним весьма талантливого крестьянского поэта Язэпа Пушчу – «определяют» в «кулацкие идеологи» и постепенно обо всей организации начинают говорить как о «правой» и «национал-демократической».

В 1929 году умирает колебавшийся между нами и большевистско-комсомольским «Маладняком» молодой способный поэт Паўлюк Трус, бывший в течение ряда лет, начиная с техникума, одним из моих товарищей по учёбе. Умирает, оставленный без всякого внимания со стороны партийно-комсомольской общественности, кричавшей всегда и всюду о своей заботе о молодых талантах. Даже на могиле его вместо того, чтобы загладить это невнимание, представитель этой «общественности», член ЦК Компартии Конакотин, ничего не понимавший ни по-белорусски, ни в литературе, «истинно-русский» и малокультурный человек, вскоре ставший одним из активнейших разгонщиков всего белорусского, в своём выступлении относится весьма пренебрежительно к покойнику, высказывая мысль, что «это ничего, что умер Трус, – завтра нам его заменят тысячи таких же Трусов». Меня это глубоко возмущает. Я пишу критическую работу «Паўлюк Трус» о творчестве покойного, подчёркивая в ней

истинно-белорусский, не только национальный, но даже националистический характер этого творчества, а в заключение вскользь едко высмеиваю выступившего на могиле поэта коммунистического оратора (правда, не называя его фамилии). В печати поднимается вопль: меня безоговорочно зачисляют в «национал-демократы», обвиняют в «грубом оскорблении нашей коммунистической партии в лице её представителя». Услужливый «Маладняк» выносит специальное постановление, в котором требует «признания ошибок» не только от меня, но и от всей организации «Узвышша». Печать и «партийная общественность» подхватывают это требование и расширяют его, выставляя в качестве «носителя ошибок» в «Узвышшы» не только меня, но и Дубоўку, и Пушчу, критика Адама Бабарэку, обвиняемого ещё и в идеализме (единственно допустимым мировоззрением, как известно, у большевиков считается материализм), и недавно вступившего в организацию критика Фэлэкса Кушчэвіча. От всех нас и от «Узвышша» в целом требуют безоговорочного признания наших «ошибок», квалифицируемых как «белорусский национал-демократизм», «кулацкая идеология», «философский идеализм» и вообще – страшная «контрреволюция».

Мы, лишённые возможности выступать публично, пытаемся всё же бороться. Хочу привести здесь только один весьма характерный факт из этой борьбы. Уладзімер Дубоўка, проживающий в Москве, добивается аудиенции у крупного в то время партийного работника, заведующего отделом печати ЦК ВКП(б) Керженцева. Керженцев согласен с Дубоўкам, что в тех его произведениях, за которые его сейчас «кроют» (модный большевистский термин) в белорусской коммунистической печати, нельзя усмотреть ничего контрреволюционного, что они совершенно нейтральны, а к тому же – весьма талантливы. Но Керженцев в заключение ставит, несколько запинаясь, вопрос: «А не могли бы вы писать по-русски, а не по-белорусски? Тогда бы мы, безусловно, стали на вашу защиту». Дубоўка отвечает отрицательно, и на этом всё кончается...

Этот факт окончательно открывает нам глаза на то, что наша «контрреволюционность» заключается, главным образом, в том, что мы, белорусы, развиваем свою белорусскую культуру, не хотим принадлежать и работать для государственной «передовой» русской нации...

Но кампанией в печати дело не ограничивается. Начинает вестись кампания и внутри организации с тем, чтобы разложить её изнутри. Некоторых из молодых наших членов начинают фаворизировать, приглашать в ЦК партии, «отечески» беседовать,

настраивать всячески против нас и даже поднаивать (особенно склонного к алкоголю молодого поэта Кляшторнага). Поведение некоторых из них (того же Кляшторнага и проявляющего сильные карьеристские тенденции Лужанина) заставляет нас подозревать, что они даже завербованы ГПУ в качестве агентов-осведомителей. И вот требования «признания ошибок» начинают настойчиво звучать уже изнутри организации. Сагитированные «отеческими беседами» в ЦК (и, вероятно, даже в ГПУ) постепенно перетягивают на свою сторону большинство и уже подготавливают проект «признания». Мы, оставшись в меньшинстве (я, Дубоўка, Пушча, Бабарэка, Купшэвіч, при сочувствии больного в то время поэта Уладзімера Жылкі), разрабатываем свой контрпроект, в котором пытаемся свести всё «признание» и все «ошибки» к явному абсурду. Но большинство, всё время консультирующееся с «отцами» из ЦК, отвергает наш проект. Нас пытаются заставить подписать проект большинства, содержащий фактически отречение от всей прежней независимой национальной линии организации и, плюс к тому, – полное самооплевание и самобичевание. В противном случае нам грозит исключение из организации.

А к этому времени уже некоторые из белорусских деятелей начинают таинственно исчезать в недрах ГПУ. И нам наши пошедшие на услуги органам товарищи, явно по наставлению «отцов», недвусмысленно намекают, что «исключение» скорее всего перейдёт в «заключение»... После бессонной ночи совещания решаем подписать «признание» и фактически отойти от всякой литературной деятельности, наивно думая, что этим сможем избавить себя от весьма нежелательного знакомства с ГПУ, от этого «заключения».

Действительно, на некоторое время нас оставляют в покое, не беспокоим и мы никого. Аресты как будто бы утихают – ГПУ сильно занято начавшейся в деревне коллективизацией, ему не до нас. В печати национал-демократизм «кроют» попрежнему, но уже в свете недавнего лозунга «великого учителя» Сталина о том, что «главной опасностью в национальном вопросе на данном этапе является великодержавный российский шовинизм». Мы успокаиваемся окончательно и даже кое у кого из нас начинают руки чесаться, чтобы опять взяться за перо и, может быть, даже кое-кому «дать сдачи»...

Но летом 1930 года внезапно вспыхивают массовые аресты белорусских национальных деятелей в дополнение к тем единицам, которые были арестованы ещё с зимы предыдущего года. Не успеваем мы как следует разобраться в этом, как в одну из летних ночей все «переходим на попечение» в ГПУ.

Это было 25 июля 1930 года. С этой даты и начинается для меня полоса моей жизни, где больше всего требуется счесть со всеми «друзьями», «отцами», «учителями», «опекунами» и «воспитателями».

* *
*

«Встаньте. Оденьтесь. Мы должны произвести у вас обыск». Но ордер, который дают прочесть, выписан не только на обыск, но и на арест... Значит, всё... И начинается длящийся всю ночь обыск, при котором переворачивается всё вверх дном, тщательно прощупываются, а иногда и вспарываются подушки и матрацы, простукиваются стенки, а в иных местах обрываются со стен обои. Забирается каждый исписанный клочок бумаги, а иногда почему-то и совершенно чистая бумага. Каждая книжечка встряхивается, а если есть в ней пометки, — безоговорочно забирается. Забирается и книжка, почему-либо подозрительная по автору, названию, году или месту издания и особенно — по языку: забираются все книги, написанные на неизвестном работникам ГПУ языке (а из известных — да и то в сомнительном объёме — можно назвать один лишь «язык Великой Октябрьской революции» — русский язык). Бедные работники! Они явно недовольны тем, что у этого человека так много книг: каждую ведь надо посмотреть, перетряхнуть, перелистать... «Зачем столько книг», — вырывается у них досадный и уже подозрительно-испытующий вопрос.

Вот отобрана книга невинного нежного лирика Александра Блока. Она развёрнута, и я успеваю прочесть четверостишие

*Тихо, и будет всё тише,
Флаг бесполезный опущен...
Только флагарка на крыше
Сладко поёт о грядущем...*

Удивительно метко характеризует заканчивающуюся сейчас полосу жизни случайно открывшееся в этот момент стихотворение! Да, давно спущен уже флаг всякой бесполезной и невозможной в условиях «диктатуры пролетариата» борьбы — пусть себе даже только борьбы за некоторую национально-культурную автономию... Одни лишь *сладкие*, но такие неясные напевы о *грядущем* только и остаются... Мертвенная тишина реакции всё сгущается и сгущается,

её не может нарушить сейчас шелест страниц, перелистываемых молчаливыми чекистами...

Под утро специально вызванная машина доставляет в здание ГПУ, в здание, на фронтоне которого, как чудовищная ирония, – скульптура Ниобеи с детьми (её можно видеть и сейчас на развалинах сожжённого самими большевиками здания). Краткая процедура заполнения небольшой анкетки в комендатуре, отнятие подтяжек, ремня, зеркальца, ножика, карандаша – всего того, на чём можно повеситься, чем порезаться или написать что-нибудь. «Давайте!» – и жест в сторону двери, охраняемой красноармейцем с винтовкой. За дверью – винтовая железная лестничка куда-то вниз, в подzemелье. Стало быть, знаменитый подвал ГПУ, из которого иногда, проходя по улице, можно было видеть в каком-то пару фигуры обросших, иногда полуголых людей. Опять – уже за спиной – «давай!» и свист в два пальца. Начинаешь спускаться по винтовой лестнице с полным впечатлением, что тебя заворачивают в какую-то ужасную машину... Может быть, в мясорубку? И глухо, из подzemелья, опять «давай!». Отныне так часто начинает звучать этот специфично гепеуевский, тюремный, универсальный побудительный лозунг «Давай!», «Давай иди!», «Давай проходи!», «Давай выходи!», «Давай в уборную!», «Давай на допрос!», «Давай на прогулку!», «Давай в баню!», «Давай соберись с вещами!» и даже «Давай бери!» (суп, например).

Опять процедура записи в книгу при грязном столике в затхлом подземном коридоре. Обыск по карманам – обнаружена жестяная коробочка с перьями, немедленно изъята. Гремят ключи, открываются тяжелоокованные двери одной из камер и после очередного «давай!» закрываются за спиной. На голых деревянных нарах, тесно прижавшись, спят обросшие бородами люди. Тяжёлый, душный воздух. Единственное место для новоприбывшего – узкий длинный каменный подоконник, высоко над которым – узкое длинное окно, находящееся на уровне тротуара и позволяющее созерцать салоги прохаживающегося часового.

Утром товарищи по камере быстро вводят в курс дела «молодого арестанта». Так называют всякого новоприбывшего независимо от возраста. Но на этот раз арестант и в самом деле молодой. Один из «старых» по всем признакам арестантов – и по седине, и по землистому цвету лица, и по сообщённому им самим шестнадцатимесячному «стажу» пребывания в камере – сразу пренебрежительно заявляет: «Конечно, вас скоро выпустят. Двадцать один год! Будет ли государство возиться с преследованием молокососов!» Опять, оказывается, слишком молод! Но если раньше

всегда так обидно было выслушивать упрёки в молодости и так хотелось быть повзрослее, теперь появляется радостная надежда: авось, и действительно уважат, «принимая во внимание молодость».

Но чем дальше, тем меньше остаётся от этой надежды. Ведь сидят в большинстве люди не только лояльные, но даже и советские активисты, бывшие там, «на воле», самыми ярыми приверженцами «мудрой советской власти». За что сидят – не только сами, но даже и следователи их не могут объяснить. А по авторитетному заявлению одного из этих следователей вопрос «За что?» – и вовсе незаконный вопрос. «Зачем?», «Для чего?» – такой вопрос ещё мог быть поставлен, но ответ на него не может быть доступен арестанту и составляет тайну высших чекистов. Следствие? – собственно говоря, никакого. Одного вот держали шесть месяцев, ни разу не вызывали на допрос, забрали однажды «с вещами», а назавтра его видели проходящим по улице. Так ведь это счастливчик, которому все завидуют! Ведь могли же его «забрать с вещами» и так, что никто больше его уже не увидел бы или увидел бы только через долгие годы.

А если и есть следствие, так обвинения ставятся самые неожиданные, о которых никто никогда даже и во сне не предполагал. На быстрое же следствие «оставь надежду всяк сюда входящий»... Во всяком случае продолжительность его измеряется месяцами. Первый допрос может последовать и через два месяца. А уж если последует скоро – через несколько дней – не ждите добра! Лучше уж медленное следствие. Выпускают же на волю только редких счастливчиков. Яркое всплывает в памяти событие вчерашнего дня: плачущая старуха-мать и «утешение» чекиста: «Через пару деньков вернётся... Ну, допросят там... Может, свидетелем... Скоро, мамаша, увидите!»

После небольшого камерного «допроса» сокамерники выдвигают оказавшуюся впоследствии безошибочной гипотезу: меня «прислелят» к делу СВБ (Саюз Вызвалення Беларусі). С год назад мы читали в газетах о состоявшемся на Украине публичном судебном процессе над членами Союза Визволення України – нелегальной украинской националистической «контрреволюционной» организации. Так вот теперь такое самое в Белоруссии... Но я ведь никогда не слышал о подобной организации! Правда, о подпольной организации нельзя широко слышать, но, во всяком случае, никто никогда не приглашал меня в эту или подобную организацию, и я совершенно чист в этом отношении. Однако ничего никогда не слышал об этом и один из моих соседей по камере – один из минских учителей-естественников.

Несмотря на это, его упорно обвиняют в принадлежности к этому, как он выражается, «чертовскому СВБ». Что ж, проживём – увидим!

И так живу день за днём однообразно-тягучей камерной жизнью. Духота и теснота переполненной камеры с неизбежными при этом вшами, десятиминутная прогулка каждый день во дворе ППУ, возле более «привилегированной» тюрьмы «американки», дважды в день уборная, 600 грамм хлеба (пока хватает и даже остаётся), чай, «баланда» (пустой тюремный суп). Читать – ничего, обещают после следствия. Единственный проблеск – возможность раз в неделю получить из дома «передачу» – смену белья, что-нибудь из еды повкуснее этой «баланды» и, главное, записку с несколькими строчками, писанными дорогой рукой близких.

В нашей камере «застой» – на допрос никого не вызывают. Вот уже месяц, как я жду первого допроса. Наконец, ещё через несколько дней, перед самым отходом ко сну – на допрос. С волнением собираюсь и иду на свой первый допрос. И что же – мои сокамерники не ошиблись: трое следователей, рассматривая меня под режущим глаза электрическим светом специально направленной на меня лампы, ставят мне это обвинение: принадлежность к СВБ! Узнаю от них, что я состоял в литературной секции этой организации и им известно о моём присутствии на двух подпольных собраниях этой секции. Немедленно возражаю, что во время, указанное для одного из этих собраний, меня вообще не было в Минске – я гостил на летних каникулах у своих родственников, о чём могу представить неопровержимые доказательства. Во время же другого собрания не было ещё вовсе того «Дома Писателя», который указывается как место этого собрания – он основался значительно позже. Оказывается, что это совсем не играет роли – собрания могли быть в другое время и в другом месте, но они обязательно были и я обязательно был на них. Не играет роли, что литераторы Чаржынскі и Грамыка, давшие, как мне говорят, такие показания на меня, со мною лично никогда знакомы не были и ни разу в жизни не разговаривали... Под конец советуют «отдохнуть в камере», «подумать», с тем, чтобы через несколько дней, когда меня вызовут, я бы «сознался чистосердечно и помог ГПУ разоблачить гнусное контрреволюционное гнездо»...

Вопреки этому, вызывают опять на следующий день в то же время, и повторяется опять всё то же... Только уже формулируется та аргументация, на которой отныне настаивают до конца: не может быть, чтобы при моей настроенности, которая проявлялась в моих устных и печатных выступлениях там, «на воле», я не принадлежал к

подпольной контрреволюционной националистической организации. А таковой, оказывается, был единственно СВБ, стало быть, я и принадлежал к нему. Так как я упорно не желаю согласиться с такой аргументацией, на меня сердятся и обещают больше со мною вообще не разговаривать. «Больше вас тревожить не будем, можете гнить в тюрьме, пока сами не пожелаете облегчить свою участь и сознаться во всём чистосердечно...». И опять вопреки этому – вызов завтра, и опять то же самое... На моё замечание, что ведь собирались больше меня не тревожить, следует ответ: «А, вам только и хотелось бы этого! Так нет же, будем вызывать каждый день, по нескольку раз в день, пока не добьёмся своего». И снова, вопреки этому, целых два месяца без вызова на допрос... С этого времени я решил, что слова и особенно обещания гепеушников следует всегда понимать наоборот, и впоследствии очень редко ошибался в этом отношении.

Наконец 1 ноября – вызов для весьма краткой процедуры: дают подписать протокол о том, что мне предъявлено обвинение в принадлежности к контрреволюционной организации, согласно статьи 76 Уголовного Кодекса БССР. И это – на четвёртый месяц «следствия», тогда как по тому же Кодексу такой протокол должен быть предъявлен не позже, чем на третий день после ареста! Но это ещё ничего – иным, бывает, и вовсе не дают подписывать такого протокола, а всё-таки репрессируют.

Через несколько дней получаю приказ «собратиться с вещами» (радостное для арестанта явление, обозначающее какую-то перемену, – всё равно, к лучшему или пусть даже к худшему – в отвратительном застое его тюремной жизни) и перевожусь в другую камеру. Здесь встречаюсь с немного знакомыми по воле белорусским культурным деятелем Аніхоўскім и театральным деятелем Красінскім. У них – тоже СВБ. От Аніхоўскага узнаю проливающие свет на всё подробности, (впрочем, уже прежде предугадывавшиеся мною. Конечно, никакого СВБ никогда не было, как, вероятно, не было и украинского СВУ, хотя и был публичный процесс над ним. Всё это – творение ГПУ. Посадили несколько белорусских деятелей с большим «контрреволюционным» прошлым (Некрашэвіча, Краскоўскага, Лёсіка, Смоліча, Ластоўскага, Чаржынскага, Грамыку и др.) и цинично-открыто поставили перед ними дилемму: или мы вас расстреляем за ваше «контрреволюционное прошлое», или вы поможете «оформить» организацию СВБ, процесс над которой, с одной стороны, поможет разгромить национальное движение, а с другой, даст известный политический эффект. К стыду их, посаженные деятели в своём

большинстве выбрали второе. Правда, некоторые из них упирались и сдались лишь после применения испытанного метода ГПУ, так называемого «конвейера» (т.е. непрерывного допроса в течение нескольких дней при смене допрашивающих и бессменном, а главное – бессонном присутствии арестованного, переходящего «по конвейеру» из рук одного допрашивающего к другому). Сдавшись, они написали длиннейшие показания, в которых создали задним числом несуществовавшую организацию СВБ, в которую и записали всех тех, кто числился уже в составленных, вероятно, задолго до этого ГПУ «чёрных списках» белорусских националистов. Всего записанных и арестованных оказалось около 300 человек.

Всё дело СВБ в качестве главного следователя вёл специально присланный из Москвы Борис Карлович Аргов (и имя, и отчество, и фамилия, как у большинства гешеушников, конечно, выдуманные). Этот тип вёл себя довольно развязно, любил пофилософствовать и пооткровенничать. Мне лично, правда, как «мелкой сошке» в деле, не приходилось с ним встречаться, но от более крупных фигур нашего «дела» приходилось слышать (в их передаче) некоторые его философемы. Вот как, например, Аргов объяснял суть всего дела: «Белоруссия – страна отсталая, так мы утверждаем. Отсталая страна даже в отдельных своих единицах не должна возвышаться над передовой. Всякие единицы, перерастающие рамки этой отсталости, должны быть изолированы. Так мудрый садовник подрезает ветви дерева, которые слишком разрастаются» (надо отметить, что «мудрым садовником» большевистская пропаганда всегда называла Сталина). Излюбленным тезисом Аргова было: «Среди арестованных ГПУ не может быть невиноватых». При возражениях он развивал этот тезис: «Пусть вы не виноваты, не враг сегодня, но завтра вы можете стать им. А при возможном нашем падении и смене власти на противоположную по направлению вы, даже будучи совершенно нейтральными и невраждебными нам, станете опорой для новой власти и даже необходимыми ей кадрами. Вот почему вас всех сейчас же нужно изолировать, изъять из Белоруссии, пусть вы сами по себе и ни в чём не виноваты». Одному из подследственных Аргов развил такую аналогию: «Когда рыбак ловит сетью, вместе с рыбой попадают лягушки и вообще всякая дрянь. Но рыба-то обязательно попадёт. Мы ловим сетью, и пусть в ней много лягушек, но рыба обязательно есть. Меньшая ошибка поймать лягушку вместо рыбы, чем пропустить самую рыбу».

Ясно, что при таких «теориях», собственно говоря, излишним было всякое следственное разбирательство и осторожность при

арестах и репрессиях. Гребни сетью всех, среди невиновных будут и виноватые.

Иногда некоторые большевистские лидеры откровенничали подобным образом даже публично. Однажды мы в уборной «выудили» газету, которую употребил для известных целей какой-нибудь из наших надзирателей (широко распространённый, хотя и не весьма гигиеничный, способ раздобыть газету в советской тюрьме). В ней тогдашний секретарь ЦК Компартии Белоруссии – первое лицо в Белоруссии – Гей откровенно разъяснял, что сталинское положение о том, что «великодержавный российский шовинизм является главной опасностью на данном этапе» имеет значение не само по себе, а лишь как «тезис в борьбе с местным белорусским национал-демократизмом». То есть, попросту говоря, это положение существует лишь для отвода глаз.

И действительно, в стенах ГПУ никто никогда не видел человека, обвиняемого в этой «главной опасности» – «великодержавном российском шовинизме». Представители «главной опасности» не только ходили на воле, но они-то именно и обвиняли, и боролись с «неглавной опасностью».

Но вернёмся к делу СВБ.

Из старых белорусских деятелей, арестованных по этому делу, до конца держался, не давая никаких нужных ГПУ показаний, только один Аляксандар Цьвікевіч, бывший в своё время председателем Совета Министров Белорусской Народной Республики. Все остальные дали более или менее обширные «показания», у иных доходившие до целых томов в 300-500 страниц сплошной выдумки. Не обошлось и без явных курьёзов. Два лица, дела которых велись разными следователями, Некрашэвіч и Краскоўскі, одновременно дали показания о том, что они возглавляли организацию. Началась борьба между следователями, оспаривавшими между собою честь вести дело главы организации. Но вышестоящие органы не удовлетворяла ни одна, ни другая фигура: требовалось лицо, более значительное в белорусском движении. Выбор пал на Усевалада Ігнатоўскага – президента Академии Наук, признанного представителя всех белорусов перед большевиками.

Из молодых же, наоборот, большинство, за исключением одного-двух, к тому же вообще довольно случайных в белорусском движении людей, держалось стойко, не давая никаких показаний, несмотря ни на какие принуждения, в частности, «конвейер». Сам Аніхоўскі, например, выдержал семидневный «конвейер» и остался непоколебимым. Аніхоўскі вообще был чрезвычайно находчивым и энергичным человеком. Когда я встретился с ним, у него уже была

налажена связь со многими камерами и с волей. Способ был простой, хотя и не совсем гигиеничный, – через уборную: записка, написанная на окурке от папиросы (писчей бумаги не разрешалось) маленьким огрызком карандаша (тоже не дозволенная и тщательно хранимая вещь в опасные моменты обыска, весьма частого и крайне неприятного в большевистской тюрьме явления, помещаемая во рту за щёкой или в волосах бороды, отросшей у каждого ввиду отсутствия парикмахера), закатывалась в шарик из хлеба, при помощи которого приклеивалась под сиденье, куда не брезговала проникать рука арестанта, рука тюремщика туда, вероятно, не была склонна заглядывать (вернее, ум его не мог додуматься до возможности такого рода сношений). На волю же и с воли передавались сведения в тщательно зашиваемых в белье записках (надо сказать, что с конца августа всем, сидевшим по нашему делу и не «сознавшимся», запретили всякого рода письменные и продовольственные передачи за исключением одного только белья). В то время, как я встретился с Аніхоўскім, в широкой междукамерной и внешней переписке проводилась кампания по бойкоту стариков-«сознаванцев». Молодые, встречаясь с ними иногда в камерах, бойкотировали их и клеймили званием предателей, то же распространялось и в записках, и в надписях на стенах уборной, коридоров и др. Бойкот вскоре возымел своё действие, и большинство стариков отказалось от данных ими показаний. Так отпал и кандидат в «возглавляющие» Некрашэвіч. Лёсік отказался от показаний после того, как его жена, с которой он получил свидание, как «награду» за угодные ГПУ показания, заявила на этом свидании, что она знает о гнусном поведении мужа и порвёт с ним всякие сношения, если он не изменит этого поведения (а узнала она об этом через наши сношения с волей). В конце концов при своих показаниях осталось лишь несколько человек, в том числе упоминавшиеся выше Краскоўскі, Чаржынскі, Грамыка и некоторые другие. Правда, показания отказавшихся большевики всё равно использовали в печати.

В камере Аніхоўскага я также ожил духом, включился в ту борьбу, которую проводил он и другие наши товарищи «молодые» в других камерах. В это же время прошёл и я трехдневный «конвейер», что мне показалось совершенно простым делом, так как Аніхоўскі, передав мне свой опыт, хорошо подготовил меня к этому. Я знал, например, что не нужно особенно набрасываться на хорошую еду, которой обыкновенно угощают следователи во время «конвейера», которая так соблазнительна для сидящего на одной тюремной «баланде» арестанта, но после которой так мучительно клонит ко сну (на что этот «приём следствия» и рассчитан). Конечно, не могу сказать, что пытка бессонницей в течение трёх суток была особенно

приятной, но всё же она не может идти в сравнение с некоторыми вещами, которые мне пришлось пережить впоследствии в 1937 году. «Конвейер» оказался безрезультатным, и после него меня больше и вовсе не допрашивали, совершенно оставив в покое.

Под весну 1931 года (не помню хорошо, в феврале или в марте) мы через нашу «почту» с воли получили сообщение о том, что застрелился Игнатоўскі, которого уже подготавливали к посадке в подвал на роль «главы организации». Вскоре после этого получили и другое известие – о попытке покончить жизнь самоубийством посредством «харакири» со стороны народного поэта Янкі Купалы, очевидно, подготавливавшегося на место Игнатоўскага. После всех этих событий наших однодельцев больше не вызывали на допросы, разрешили всем нам передачи, перевели из подвала в тюрьму, где были большие светлые камеры, начали понемногу вызывать для подписания протокола об окончании следствия, стали давать свидания. В камерах уже было нас, однодельцев, по несколько человек, и возможности сношения были значительно облегчены. Правда, зато выглядывать в окна было строго запрещено – часовые имели приказ стрелять без предупреждения, и некоторые чуть не заплатились жизнью. Разрешили, наконец, даже книги и газеты.

По всему было ясно, что дело провалилось.

В апреле наших однодельцев начали вывозить из Минска.

Так как изо всех однодельцев я один не подписал ещё протокола об окончании следствия, да и к тому же я был самым молодым из всех – мне пророчили обязательный выход на волю и даже давали уже поручения к родным и знакомым. Однако, несмотря на то, что протокола об окончании следствия мне так и не дали подписать, я был также вывезен в Москву...

Несколько дней в знаменитой Лубянке с заполнением длиннейшей и подробнейшей анкеты и самым униженным и тщательным из всех, нередких и прежде и потом, обысков, с осмотром не только рта и горла, но также и заднего прохода. Месяц в пересыльной тюрьме, не менее знаменитых Бутырках, – совсем уже «весело»: сто человек в камере, где при Николае «Кровавом» было место лишь для десяти, – в тесноте, но не в обиде – масса интеллигенции, особенно инженеров из так называемого знаменитого «рамзинского дела» (тоже, оказывается, созданного ГПУ), каждый вечер доклады, лекции и даже концерты своими силами. Хорошая товарищеская самопомощь. А теснота не так уж страшна – всего лишь ночью нельзя лечь на спину или повернуться, надо «ворочаться организованно» (единственное, кажется, место, где столь излюбленная большевиками «организованность» была целесообразной).

Здесь же, в Бутырках, каждый из нас получает под расписку объявление о постановлении Коллегии ОГПУ через обыкновенного тюремного надзирателя. Я получаю административную ссылку с прикреплением сроком на пять лет в город Глазов, Удмуртской Автономной Республики (бывшей Вятской губернии).

Засим – следование на место ссылки этапным порядком с заездом в этапные тюрьмы Ижевска, Свердловска и даже Зуевки – за Глазовом, так как в Глазове почему-то не вышел конвой и меня некому было сдать.

Этап – самое противное из всего пребывания на протяжении одиннадцати месяцев под стражей. Следование по этапу вместе с уголовниками, терроризирующими политически и нравственно и физически. Голодуха – ещё в Минске с зимы «съехали» с 600 до 400 и далее – 300 грамм хлеба, а в этапных тюрьмах – уже только 150 грамм... Грубость, издевательства и даже побои со стороны конвоя. Жуткая переполненность «стольпинских вагонов». Марка какого-то важного преступника – вместо одной статьи, предъявленной в ноябре, теперь, откуда ни возьмись, – целых пять. И обыски, обыски, бесконечные обыски... И вши, как и все одиннадцать месяцев, вши... А в этапных тюрьмах – клопы, тараканы, окурки, даже горящие, шлевки на голову, когда лежишь под нарами, где единственно даёт тебе место уголовная «аристократия», сама возлегающая на нарах, сама устанавливающая все порядки в тюрьме. Грубость тюремной администрации двойная по отношению к политическим. Принудительное выталкивание на работу при помощи сапога и нагайки, хотя мы осуждены не на принудительные работы, а только на высылку. И под нарами одной из этапных тюрем лучший наш поэт – Уладзімер Дубоўка – создаёт наш своеобразный гимн, в котором – подытоживание пройденного пути, горькое осознание своего положения и готовность к борьбе в будущем при твёрдом сознании своей правоты. Хочется привести этот документ этапа и ссылки, хотя в переводе с белорусского обыкновенной прозой он и потеряет свои поэтические достоинства⁷⁶⁰:

*Забраны в неволю из «забранного края»,
Взяты за решётки из опустошённых хат...
Для нас началась минута лихая,
Мой родной, мой бедный, униженный брат...*

⁷⁶⁰ Арыгінальныя тэксты вершаў Ул.Дубоўкі, нападзеныя тут і далей у расейскай мове, прыведзеныя ў частцы XII працы «Супраціў саветызаванні ў беларускай літаратуры». [Заўвага рэдактара – Л.Ю.]

*Живёт наш народ, как горох при дороге,
Просвета не видит в этой жизни,
Вчера – на работе, сегодня – в остроге,
А завтра – за работу в изгнание идти.*

*Прогонят через пустыни, через тундры, на Мурман,
Чтобы из наших костей устроить погост,
Прогонят этапом сквозь царские тюрьмы,
Которые хотели с землёю сравнять.*

*Сравнивать не сравнивали, а в землю загнали,
Загнали трудящихся в тёмный подвал.
Жар загребали чужими руками,
Благодарности ни слова никто не сказал.*

*Не хватит тюрем для нашего брата –
«Ударным порядком» станут строить.
Знать, легче поставить железные решётки,
Чем счастье для бедного люда устроить.*

*Не плачьте вы, сёстры, не плачьте вы, матери,
Не плачьте вы, дорогие сердцу, о нас.
Такие уж, знать, на свете порядки,
Такое уж безумное, исковерканное время...*

*Пусть лучше печалются продажные души,
Платы ожидают за измену свою,
Пусть их совесть, этих иуд, задушит,
Загонит живыми в сырую землю.*

*Зверьяная злоба не закроет от нас неба
И нашей земли всей не поглотит.
Мы знаем – бороться за волю нам надо,
Мы знаем – борьба наш край не преминет.*

*Никогда и нигде Беларусь не погибнет,
Никогда и нигде Беларусь не умрёт –*

*Ни в концлагерях, ни в тюрьмах,
ни в проклятых краях,*

Ни в диком крепостничестве, московском ярме.

*Рубите, рубите высокие сосны,
Складывайте доски одну к другой.
Растерявшийся враг не знает покоя,
Сам себе уже сколачивает гроб.*

Ещё в Минске у многих появлялась мысль: как плохо, что у нас и в самом деле не было прежде никакой антибольшевистской организации. Некоторые добавляли при этом шутливо: «По крайней мере, было бы сейчас на следствии в чём сознаваться...». Но большинство высказывало эту мысль вполне серьёзно, сожалело о том, что упущено время для активной борьбы с большевиками, которая могла бы иметь успех или, во всяком случае, дать полное моральное удовлетворение и оправдание. И когда в Москве перед отправкой на этап в огромной бане Бутырской тюрьмы свели всех нас, идущих в ссылку вместе (а это было громадное большинство всех привлечённых по делу; только около десятка человек, главным образом, бывших членов коммунистической партии, в том числе народный комиссар просвещения Баліцкі, народный комиссар земледелия Прышчэпаў, получили концлагерь и следовали отдельно), у большинства стихийно возникло решение организовать хотя бы для того, чтобы в ссылке поддерживать между собой нуть только письменную связь, не терять друг друга из виду с тем, чтобы впоследствии вернуться на родину и организованно бороться с большевизмом. Никакого внешнего оформления эта организованность не получила, ибо в условиях большевистского режима это было бы бессмысленно и немедленно привело бы к новым, более тяжёлым репрессиям. Единственным программным документом этого движения и остался этот подхваченный всеми с удовлетворением «Гімн выгнанцаў» Уладзімера Дубоўкі.

* *
*

Глазов... Удмуртское селение, только из-за своих несколько больших размеров и административного значения именуемое городом. Бедная северная природа, суровый для нас климат. Суровые северные люди, живущие в ужасающей, лапотной бедности, темноте, некультурности, грязи, сплошной трахоме. Удмурты, иначе вотяки, – небольшой народец финской расы, в своём национальном развитии переживающий ещё так называемый «до-национально-демократический

период». Уже во время моего пребывания там в 1932 году проводится такая же, как у нас, борьба с национал-демократизмом, в результате которой почти вся национальная интеллигенция, так же оформленная ГПУ в «контрреволюционную организацию», высылается на Дальний Восток. Родной язык в школах с языка преподавания постепенно переводится на положение одного из предметов, впоследствии даже и необязательного.

«Последовательная ленинско-сталинская национальная политика», проведённая ещё более последовательно, чем у нас, в Белоруссии, где этой последовательности, вероятно, мешали близость к Западу и вхождение части Белоруссии в Польшу, вызывавшие необходимость «держать марку» и создавать видимость национального белорусского очага при преследовании всего белорусского в Польше.

Ещё в Бутырской тюрьме мы встречались с националистами других национальностей (украинцами, узбеками) и всегда встречали с их стороны братское сочувствие, солидарность и поддержку. Особенно памятным остался один настор из так называемой Республики Немцев Поволжья, квалифицированный ГПУ как «немецкий национал-демократ» и оказавший нам большую дружескую, даже материальную поддержку. Представители удмуртской национальной интеллигенции также, узнав нашу историю, отнеслись к нам сочувственно и дружелюбно. Культурные люди очень нужны были их краю. Но ГПУ вначале и слушать не хотело о том, чтобы допустить нас на культурную работу. Так как другой работы вообще найти в Глазове мне нельзя было, я вынужден был в течение первых трёх месяцев жить исключительно на скудные средства, присылаемые из дому моими родителями, ибо 6 руб. 50 коп. «пособия по безработице», выдаваемого ГПУ, не могли быть хоть каким-нибудь подспорьем. Наконец, под напором местных органов народного образования, местное ГПУ разрешило мне преподавать, но не гуманитарные науки, по которым я специализировался в университете, а лишь точные – физику и математику, где нельзя было проявить какой-либо «контрреволюционный уклон». Уже это для меня было большой радостью, ибо мечтать о научной или литературно-критической работе, в области которой специализировался на родине, нельзя было и мечтать. (Один из профессоров университета – Барычэўскі – хотел оставить меня на своей кафедре, другой – Бузук – взять аспирантом в Академию Наук, но в обоих случаях моя кандидатура, как «политически неблагонадёжного», не прошла апробации партийных органов, от которых единственно это зависело). Пришлось удовлетвориться преподаванием чуждых мне до тех пор физики и математики в

средних школах, да и то с трёхкратными перерывами, вызванными обострением «классовой бдительности», в результате которого следовало: «снять с работы, как чуждый элемент»...

Единственной отрадой была переписка с друзьями. Уладзімер Дубоўка изредка баловал в письмах своими стихами. Хочется привести некоторые из них, хотя, опять-таки, в прозаическом переводе они совершенно бледнеют.

Вот маленькое стихотворение, хорошо выражающее настроение всех нас в первое время ссылки:

*Забылся ты... Склонился на ладони,
Езда, пути и отблески погони...
Забылся ты – ласкаешь свет широкий,
Не слышишь стражи непрерывной шагов.*

*Забылся ты, тебе всё воля снится...
Мой друг! Неужели же весь мир – тюрьма?*

А вот грозная инвектива, направленная против тех предателей, в значительной мере благодаря которым мы очутились в изгнании:

*Вы, привыкшие ползать на четвереньках
И танцевать на задних ланках
Перед каждой ничтожностью,
Которая держит пайку с маслом;*

*Вы, пропитавшиеся грязью
От пят до самой шеи,
Привыкшие бить тех, которые угнетены,
Лить помой на ближнего, –*

*Где ваш стыд человеческий?
Где уважение к человеку?
Как от вас нам уберечь
Честь нашей родины?*

*Место ваше – в болотных лозах,
Позор вам предопределён,
Так как при вашей помощи
Отечество на кресте.*

В это же время Дубоўка заканчивает начатый им ещё в тюрьме перевод созвучной нашим настроениям этого времени поэмы Байрона «Шильонский узник». Вступительный сонет к поэме переводится им хотя и дальше от оригинала, но ближе к нашим переживаниям и чаяниям этого времени:

*И пусть сыновья твои в тюрьмы взяты –
К победе ведь идёт родина с ними!
Сыновней мукой добывается слава,
И в первом ветре, воля, крылья расправишь!*

Эти строки сонета звучали для нас бодростью и надеждой.

В 1933 году зимой умирает в ссылке в Уржуме (в том же Вятском крае) мой друг и товарищ по «Узвышшу» поэт Уладзімер Жылка, арестованный уже больным туберкулёзом. Перед смертью он пишет и рассылает всем нам своё поэтическое завещание – «Тэстамэнт», поэму необычайной силы, к сожалению, из-за своего большого объёма не сохранившуюся целиком в моей памяти. Она полна проклятий нашим мучителям и предвидением наступления со временем светлого будущего.

И – какая ирония! – после смерти Жылкі на его имя поступает разрешение от Московского ГПУ переселиться в более благоприятный для него при его болезни климат, о чём Жылка ходатайствовал ещё с самого начала ссылки...

В этом году получаем сообщение о том, что в БССР произведён новый «набор» националистов, в том числе – обмененных большевиками из польских тюрем бывших белорусских послов в Сейм, ориентированных на Советы, а также и некоторых из оставшихся наших друзей по «Узвышшу», с которыми у нас завязывается оживлённая переписка.

Вообще 1933 – богатый для нас событиями год!

В этом же году узнаём о победе национал-социализма в Германии. Хотя большевистские газеты последнее время перед этим писали, что «для немецкой буржуазии Гитлер слишком крайняя фигура и приход его к власти мало вероятен», однако, должны были поставить своих читателей перед свершившимся фактом. Мы все воспринимаем этот факт очень оживлённо. Во-первых, мы давно уже следили за всеми западноевропейскими националистическими течениями, сначала за итальянским фашизмом, а потом и за германским национал-социализмом (конечно, насколько это возможно было в условиях большевистской монополии печати) и находили там много такого, о чём думали и мы сами для своего народа. Во-

вторых, с приходом Гитлера к власти у нас крепнет надежда на то, что должна в конце концов в Западной Европе появиться сила, которая ударит и разобьёт тюрьму – Советский Союз. По всему видно – и большевики не скрывают этого, – что именно немецкий национал-социализм похож на такую силу. Хотя всё это постороннему человеку может показаться писанным задним числом, мне самому в глубине моей души составляет большое удовлетворение отметить, что история так блестяще оправдывает зародившиеся тогда у нас, узников большевизма, надежды.

Хочется поделиться своими мыслями с близкими друзьями, и на Первомайские праздники, обманув «славную большевистскую бдительность», нелегально и незамеченно посещаю своего друга Адама Бабарэку, отбывавшего ссылку не особенно далеко от меня, в городе Слободском (только впоследствии, благодаря неосторожности товарища, ГПУ узнаёт об этом, но наше твёрдое поведение решительного отрицания не даёт ему возможности установить факт). Вместе с Бабарэком, между прочим, решили самостоятельно изучать немецкий язык, чтобы не терять даром времени, которое пока есть у нас. Я заканчиваю это изучение уже в 1936 году, когда заочным образом (единственно доступным мне, как ссыльному) заканчиваю Институт иностранных языков при Наркомпросе БССР и получаю звание «переводчика высшей квалификации с немецкого языка на русский».

Под конец 1933 года начинают нас немножко прижимать. Вместо явки для регистрации в ГПУ раз в месяц устанавливается явка два раза в месяц. Проводятся обыски, во время которых отбирается вся переписка (правда, всё, что могло бы компрометировать, нами предусмотрительно уничтожалось).

В 1934 году всех нас стоняют с насиженных мест и соединяют в большие группы в нескольких центрах, являющихся уже более крупными городами (Вятка, Иваново-Вознесенск, Чебоксары и др.). Я вместе с ещё двумя десятками товарищей по несчастью попадаю в Вятку, вскоре переименованную в Киров. Большой и более культурный город, большой круг товарищей (в Глазове нас было только трое, прежде вовсе незнакомых и с разными интересами людей) – всё это значительно встряхивает и оживляет, хотя в остальном – начинай сначала: месяц без квартиры, четыре месяца безработицы, после убийства Кирова, имя которого тотчас получает наш город, – обострение «бдительности», явка на регистрацию уже еженедельно... Всё это ничего – ведь в следующем, 1935 году, должен окончиться наш пятилетний срок ссылки, и воля, родина уже так близко...

Вот и лето 1935 года. Некоторые уже окончили срок, получили волю и уезжают из Вятки. Но, оказывается, не все могут надеяться на это. Из двух десятков вятских ссыльных белорусов троих задерживают ещё на два года: меня, Бабарэку и Багдановича. Просто объ являют постановление Особого Совещания в Москве – «продлить срок ссылки на два года. Место ссылки прежнее»... Никаких объяснений, почему, за что. «Постановление из Москвы, сами не знаем», – один ответ местного начальства НКВД. Вскоре узнаём, что та же судьба постигла и нашего друга Дубоўку в Чебоксарах и некоторых других. Всё равно как по «плановой развёрстке» – по три человека в каждом центре, куда мы были согнаны год тому назад. Может быть, и в самом деле по «развёрстке»? Ведь приносил недавно один гражданин в редакцию «Минской газеты» обгоревший клочок бумаги. Найденный им в сторевшем здании Минского НКВД, где говорится о «плановых лимитах» арестов.

Жестокое разочарование. Опять тяни ляжку... И, главное, нет никакой надежды на то, что новый срок будет последним. Наоборот, налицо перспектива обратиться в какого-то «вечноссыльного».

В 1936 году до нас доходят сведения о том, что в Белоруссии происходит новый – уже третий по счёту – «набор» националистов, новая массовая волна арестов. И здесь – какая правильная «плановая» периодичность – раз в три года (1930-1933-1936). Но, кроме этого, широко развёртывается борьба с «троцкистами», «террористами» и прочими «истами». Мы должны являться на регистрацию уже через день.

Вот уже месяц остаётся до окончания второго срока. Лето 1937 года. Массовые аресты даже коммунистов и военных. По печати чувствуется подготовка процесса «правых уклонистов» в партии. Сталин выдвигает тезис о том, что «страна кишит шпионами, агентами иностранных разведок». Ясно, что опять будут хватать и сажать самых простых и невинных людей. В такой обстановке трудно ожидать «мирного» окончания срока и воли. Сколько годиков ещё прибавят?

Оказывается, прибавки на этот раз недостаточно.

25 мая – обыск и арест.

Вятская тюрьма. Снова – «сознайтесь в контрреволюционной деятельности». И следователи ещё менее квалифицированные, чем в Минске. Они даже не знают, в каком направлении может быть у меня эта «деятельность», просто я должен «сознаться», в чём себе хочу. В тюрьме – ужасная голодуха, а на воле в Вятке никого из

близких, кто мог бы принести хоть кусок хлеба, как местным приносят. Дома, конечно, тоже не знают, что со мною. Как быть?

Постепенно назревает решение: требовать, чтобы перевели в Минский НКВД, по месту происхождения дела. Там и родные смогут помочь чем-нибудь, хотя бы принести что-нибудь в тюрьму и, по крайней мере, будут знать, где я. Но следователи вначале и слушать об этом не хотят. Тогда предъявляю решительное требование и объявляю голодовку. Сделать это не так трудно, ибо, объявив голодовку, я отказываюсь лишь от того скудного весьма пропитания вятской тюрьмы, которое и так не утоляет голода. По истечении трёх дней голодовки меня вызывают и после бесплодных попыток уговорить «сознаться на месте», чем я будто бы «облегчу свою участь», объявляют, что готовы удовлетворить моё требование и отправить в Минск. «Нам же лучше – не нужно будет возиться с таким, как видно, упорно несознательным типом, как вы, а вам самим придётся ещё раскаться, так как Минск сейчас – центр всех шпионских дел, и там вам “мало не будет”. Всё же не поздно ещё сознаться здесь, у нас, и тем самым облегчить свою участь»... Но я упорно стою на своём, и мне обещают удовлетворить мою просьбу при условии снятия голодовки. И надо отдать справедливость: на сей раз (может быть, единственный за всю мою практику), гепеушники сдержали своё слово: через неделю я действительно отправляюсь в Минск этапом. Опять этап... Правда, техника шагнула вперёд и в этапном деле. Хотя и осталась прежняя грубость конвоя, компания уголовников, теснота «стольпинских вагонов», но зато передвижение совершается значительно быстрее и проще: перегрузочный пункт только один – Москва, и там всего лишь переезд с вокзала на вокзал без заезда в этапную тюрьму. Весь этап занял три дня – рекорд по сравнению с 1930 годом, когда он отнял почти три месяца.

30 июня 1937 года меня уже принимает в свои объятия такая знакомая и «родная» минская тюрьма. Однако первые впечатления заставляют вспомнить угрозы вятских следователей и призадуматься над тем, не стоит ли действительно пожалеть о Вятке. С 1930 годом нет никакого сравнения. Правда, кормят лучше, чем в Вятке, но о передачах с воли никто уже три месяца ничего не слышит. Тюремный режим ужасный: большие и светлые камеры времён Николая «Кровавого» переделаны в маленькие, тесные, почти одиночки, окна в них уменьшены на 4/5. Находиться на кровати и вообще лежать можно лишь с 11 ночи до 6 утра, всякого, пробующего прилечь или вздремнуть сидя днём, сейчас же возвращают в состояние бодрствования, а при ослушании немедленно сажают в карцер. На допросы же вызывают преимущественно только ночью, так что

вызываемый совсем лишается возможности спать. Таким образом, «конвейер» получил новую, усовершенствованную форму. В старой форме он уже не употребляется, зато на допросах, как система, применяются методы грубого и тяжёлого физического воздействия в форме прямого рукоприкладства и разного рода физического издевательства. Правда, и в 1930 году мы слышали о применении методов физического воздействия, но лишь по отношению к редким лицам, обвинявшимся в шпионаже, ко всем же прочим подследственным, в том числе и к нам, они не применялись. Теперь же, оказывается, шпионаж «пришивают» каждому и поэтому лупят всех сплошь. Отсюда и в камерах, в отличие от 1930 года, большинство «сознающихся», т.е. клеветующих на себя и на других людей (за всё, на этот раз уже тринадцатимесячное пребывание моё в тюрьме, я, кроме себя самого, встретил лишь шесть человек, выдержавших пытку до конца и «не соизвавшихся»). По партийному составу тоже совершенно иная картина: если в 1930 году коммунистов почти не было, то сейчас они главным образом и заполняют тюрьму, начиная от «наркомов», «замнаркомов», партийных секретарей разного масштаба и прочих партийных функционеров до рядовых членов и кандидатов партии и комсомольцев. По прибытии в тюрьму узнаю, что недавно покончил жизнь самоубийством старейший и виднейший коммунист-белорус – председатель высшего органа власти – Центрального Исполнительного Комитета БССР – Аляксандар Чарвякоў; покончил, вероятно, при таких же обстоятельствах, как и Ігнатоўскі в 1931 году. Вскоре узнаём уже в минской тюрьме, что долголетний сподвижник Чарвякова – бывший председатель Совета Народных Комиссаров Галадзе – тоже покончил самоубийством, выбросившись во время допроса из окна верхнего этажа на улицу (после этого везде на окнах следственных комнат в НКВД и над пролётами лестниц появились лёгкие решётки).

Потеряв надежду связаться с родными и получить что-либо с воли, слушая каждую ночь душераздирающие крики людей из следственных камер, наблюдая возвращающихся с допросов избитых и окровавленных своих товарищей по камере, с ужасом жду своей участи, с глубоким сожалением вспоминая «патриархальные нравы» 1930 года и милой Вятки с такими предупредительными и «доброжелательными» следователями... Вот они, действительно, «ежовые рукавицы» «славного сталинского наркома» Ежова, намёки на которые приходилось читать в большевистских газетах ещё будучи на воле...

Однако два месяца меня, к великому удовольствию, не трогают. Первый вызов на допрос показывает, что вообще мои

следователи не совсем ориентируются, кто я, откуда, почему и зачем? Со времени 1930 года минские гепеушники несколько раз успели смениться, и нет среди них никого, кто бы помнил меня и моё дело по 1930 году. Вятские же их коллеги, очевидно, арестовали меня механически для «выполнения плана», как лицо уже репрессированное раньше, и тоже не могли сообщить обо мне ничего особенного.

Но всё же это мало меняет дело. Методы ГПУ за это время тоже сильно «рационализировались» и упростились. Никому уже не предъявляют даже таких, шитых белыми нитками, обвинений, как мне в 1930 году. Дело начинается сразу с требования «сознаться в шпионской работе» и, при помощи физического насилия, направляется к тому, чтобы «сознание» вышло наиболее эффективным и охватило бы наибольший круг лиц, которых можно было бы посадить в тюрьму, и чтобы, таким образом, заслуга следователя по разоблачению «контрреволюционной гидры» выглядело бы как можно внушительнее.

Поэтому я сразу начинаю проходить все эти методы на собственной шкуре. Достаточно здесь просто перечислить их, чтобы впечатлительному читателю представить себе всю пройденную мною (т.е. каждым арестованным в это время) школу: 1) сидение «на колу», т.е. во время допроса на задних ножках перевёрнутой вверх ногами табуретки; 2) задавание следователем «вопросов» прямо на ухо громовым голосом при помощи свёрнутой из бумаги усилительной трубки; 3) выполнение по заданию следователя на «допросе» гимнастических упражнений (главным образом, приседаний) по несколько сот раз; 4) такая «мелочь», как глубочайшее оскорбление, ругань – знаменитый мат, илевки в лицо; 5) выдёргивание волос; 6) испытание переменным током; 7) «матч бокса» с тремя дюжими молодцами, после которого я потерял сознание и очнулся уже в больнице тюрьмы, где пробыл две недели (ах, как хорошо было: лежать можно круглые сутки и еда – даже мясо), но: 8) излечение в больнице вместе с доведённым до сумасшествия человеком, всё время бредящим тем, что его вот-вот должны разрезать на части, потом повесить и, наконец, расстрелять, что вот-вот идут, берут; 9) после него – отдых вдвоём с припадочным больным, у которого припадки иногда по несколько раз в день; 10) действительный отдых в одиночном заключении; II) пребывание в камерах «активно-сознающихся», всё время уговаривающих «сознаться» по их примеру, т.е. оклеветать похлестче себя и других; 12) трёхдневное пребывание в камере «смертников», т.е. людей, которым уже объявлены по суду смертные приговоры (в камере нет никаких постельных принадлежностей, отобраны все вещи, не выпускают даже в

уборную); 13) инсценировка расстрела (предложение написать «последнюю записку» родным и после этого – поездки в автомобиле за город и обратно).

Думаю, что достаточно перечисленной здесь «чёртовой дюжины». Два месяца напряжённой «работы» в этом духе, и всё же – ни строчки какого-либо «показания» и «сознания»!

Наконец, махнув рукой, оставляют в покое.

Как хорошо, пусть уже и не первый месяц, сидеть в тюрьме спокойно, не тревожимым абсолютно никем! Всё равно – что будет, то будет. И по афоризму одного встреченного в тюрьме оригинального «философа»: «Что-нибудь да будет: никогда так не было, чтобы ничего не было»...

Но вот начинают чувствоваться некие новые веяния... Вызовы на допросы не только меня, но и других почти совершенно прекратились. Почти не слышно ночных криков. Даже надзиратели стали ласковее, и некоторые «нахалы» из арестантов начинают дремать днём и, представьте себе, совершенно безнаказанно!

И вскоре тюремный «телеграф» передаёт перестуком: «Арестован сам Берман». Берман – глава Минского НКВД, верх жестокости, верный сподвижник самого Ежова! А через несколько дней – тот же «телеграф»: «Работает комиссия из Москвы».

И вдруг – совершенно неожиданно, несмотря на эти слухи, которым привык не верить, – ночью, вместо очередного какого-нибудь «номера», – воля, сама воля! Даже не верится, может быть, новая провокация...

Но нет – вот они улицы восемь лет тому назад покинутого родного города. Со слезами на глазах, узнавая их, бежит по ним оборванец, одной рукой придерживая сползающие брюки (по тюремным законам 1937 года почему-то у арестантов отрезались все всякого рода пуговицы, застёжки, завязки...).

Дома с милыми измучившимися стариками-родителями. Они всё равно рады, даже если целый год вынуждены кормить дармоеда (ни одно учреждение не осмеливается брать хотя бы и освобождённого, но с таким «ужасным прошлым» человека). Наконец удаётся получить небольшую работу в захудалом химико-технологическом техникуме. Тихо, спокойно, ничего больше не надо... Наконец повезло!

22 июня 1941 года. Во-время сделанные «оргвыводы» из речи Молотова – исчезновение из дому, переход на нелегальное положение. 28 июня – большевиков в Минске больше нет и никогда не будет!

Пробуждение от тяжёлого сна – опять родная национальная работа, пусть пока и на развалинах, оставленных коварным врагом.

Жаль одного – работа пока не оставляет нужного времени, чтобы подробнеем образом перетряхнуть всё в памяти и перенести на бумагу.

И здесь, конечно, только одни вехи.

Но я знаю: будет ещё у меня время. Будет. Будет написан подробнеем счёт за исковерканную жизнь, истерзанную молодость – и не только за себя, а и за миллионы подобных.

Но счёт, пусть и не написанный в подробностях, сегодня предъявлен за всех и оплачивается. Оплачивается уже сегодня у самого сердца чудовищного паука – у самой проклятой Москвы. И будет оплачен до конца.

Уже в этом сегодня большее, всё возрастающее удовлетворение.

16 ноября 1941 года
Минск

Ант. Адамовіч

Примечание: При использовании просьба об осторожности с упоминающимися в тексте собственными именами, так как большинство носителей их или их родственники сегодня ещё по ту сторону линии, в руках тех, которые умеют быстро и жестоко делать необходимые «оргвыводы».

Заўвага рэдактара: праўдападобна, гэтая аўтабіяграфія напісаная на запатрабаваньне нямецкіх уладаў.